

Илья Утехин

Александра Мартыненко. «Бездушные бюрократы»: как устроена работа органов опеки. М.: Фонд поддержки социальных исследований «Хамовники»; Common Place, 2025. 160 с. ISBN 9789999991872.

Илья Утехин, Орхусский университет, Дания. iutekhin@cas.au.dk.

Рецензируемая книга – не научная монография, а сборник популярных очерков, адресованных широкой аудитории. Тем не менее, в основе текста лежит подлинное антропологическое исследование: автор, выпускница факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Александра Мартыненко, несколько лет проработала штатной сотрудницей одного из российских органов опеки. Она стремится не просто описать рутину «бездушных бюрократов», но вернуть чиновникам человеческое измерение, скрытое за стереотипами публичного дискурса, – показав внутреннюю логику их действий изнутри самого института.

Освоившись на новом месте и став «своей», она описывает повседневность мелкого чиновника, глядя на нее с собственного рабочего места. В какой-то момент с автором случается то, что и она сама, и ее коллеги рассматривают как ритуал посвящения, включающий в местное сообщество: овладев специфическими формами общения с посетителями, она – подобно Гортензии Паудермейкер, пустившейся в ходе ритуала в пляс с туземцами (Powdermaker 1967:115–119), – становится признанной сообществом.

Книга хорошо читается, не требуя от читателя усилий. Ее аудитория – самый широкий круг читателей, и в этом смысле она являет собой хороший пример того, как результаты исследования могут быть представлены широкой публике. В работе Мартыненко нет сколько-нибудь подробных теоретических рассуждений: все изложения теоретических концептов привязаны к материалу и безусловно нужны читателю, а кроме того, объяснены вполне доступно. Впрочем, редакторы и автор почему-то решили вообще не ссылаться на источники, хотя нельзя исключать, что у некоторых читателей могло возникнуть желание сделать шаг в глубину. Без такой возможности пересказ подходов других ученых остается в вакууме – лично я на их месте огорчился бы, если бы обнаружил, что на меня сослались, не оставив ссылку на источник. Поэтому я начну с того, что упомяну некоторые работы, оставшиеся за кадром обсуждаемой публикации – и это сразу покажет, в какие контексты вписывается проделанное автором исследование органов опеки.

Во-первых, Мартыненко опирается на ключевые элементы теории Майкла Липски (Lipsky 1980): структурную нехватку ресурсов, непосильную нагрузку и принципиальную неустранимость «усмотрения» (discretion) как механизма, превращающего рядового чиновника в фактического творца политики. Именно это проявляется в ее описаниях того, как сотрудницы опеки решают, кому из клиентов «дать шанс», а чье дело передать в суд. С опорой на Липски объясняется и хамство бюрократов: подобное поведение обусловлено не личными качествами служащих, а системными особенностями функционирования бюрократии.

Во-вторых, автор прямо отсылает к введенному Джеффри Протасом (Prottas 1979) понятию «граничного актора» (boundary actor) – чиновника, занимающего позицию на стыке между организацией и гражданином и в силу этого контролирующего информационные потоки в обе стороны. Данное понятие органично вписывается в наблюдения Мартыненко за тем, как сотрудницы «переводят» сложную семейную ситуацию в бюрократически обрабатываемые категории. Протас же ввел и понятие «скудости» (sparseness) документа: дело на ребенка или семью неизбежно беднее, схематичнее живой реальности, и эта схематизация сама по себе является властным актом (об этом см. с. 72). Мини-глава «Бумаги, бумаги, бумаги» (с. 47–54) написана как иллюстрация этого понятия: именно скудость документа объясняет, почему бумага не схватывает ни усталости инспектора, ни отчаяния матери.

В-третьих, автор использует ожидание как сквозной мотив: клиенты ждут в коридоре, дела ждут на столе, сотрудницы ждут конца рабочего дня. И это не только художественный прием, но и теоретическая рамка (Janeja and Bandak 2018). Вслед за Манприт Каур Джанеджи и Андреасом Бандаком автор получает возможность показать ожидание не как вынужденный простой, а как активное социальное состояние, перераспределяющее власть: тот, кто заставляет ждать, осуществляет реальный контроль над временем и достоинством другого.

В-четвертых, пожалуй, наиболее органично встроенным в ткань книги теоретическим пластом оказывается тема эмоционального труда (Hochschild 1983). Так, мы читаем у Мартыненко про перформанс нейтральности при виде страдания (с. 80), про то, как сотрудники вынуждены скрывать свое раздражение, которое вызывают «трудные» (и дурнопахнущие) родители (с. 71–78).

Отдельные мини-главы книги представляют собой замечательные рассказы, законченные и лаконичные по форме. Например, в одной из них описано заседание суда по делу о лишении родительских прав. Неоднозначность бюрократических определений отлично иллюстрирует финал главы: после заседания суда мать, которую лишают родительских прав, бабушка и девочка идут вместе в магазин за чипсами – «какая-никакая, а все-таки семья» (с. 114). Даже интересно, что с ними стало дальше.

Одна из лучших мини-глав озаглавлена «Равнодушие» (с. 79–81): искренне сочувствующие просительнице сотрудники не могут себе позволить это сочувствие проявить, потому что тем самым дали бы посетительнице ложную надежду, в то время как способы помочь ей у них исчерпаны. Вообще, главные открытия здесь касаются понимания внутренней логики действий чиновников, скрытой от «внешнего» человека; притом сами чиновники показаны живыми людьми, со своими чувствами и жизнью, которая не ограничивается бюрократической работой.

Яркие образы коллег по отделу опеки раскрываются и в офисной жизни, и на выездах, чреватых неожиданностями: вот работники опеки увозят отравленного ребенка от матери-наркоманки, вот девочка-подросток бросается с ножом; так что служба в опеке – это не только про бумаги. В результате мы видим не только как бюрократы вершат судьбы или рутинно осуществляют свою власть, но и тех, с кем им приходится иметь дело.

Тем не менее, в части осмысления наблюдаемых картин мне как читателю не хватило перехода, который коллеги Мартыненко уже сделали – от отдельного бюрократа

к бюрократическому органу. У автора действия бюрократов иногда – возможно, в силу популярного характера изложения – выглядят как нечто обусловленное индивидуальной психологией. Однако вот Эвелин Бродкин (Brodкин 2013) делает следующий – по отношению к построениям Липски и Мартыненко – шаг, усматривая политическое измерение в деятельности организаций. В такой оптике отдел опеки – не просто исполнительный орган, применяющий Семейный кодекс. Он производит конкретную политику защиты детей в том виде, в каком ее реально переживают семьи, и одновременно дает воспроизводиться определенному отношению граждан к государству – будь то страх, зависимость, смирение или сопротивление.

Несомненные литературные и этнографические удаchi книги перевешивают ее отдельные, но довольно систематические недостатки. Их, возможно, и не стоило бы упоминать, если бы они не имели отношения к принципам этнографического письма. Связаны они с особенностями выбранного синтетического жанра – попытки усидеть на трех стульях между этнографией, просветительским нон-фикшн и художественной литературой. В принципе, между упомянутыми жанрами нет непродоходимых границ; более того, и этнография и нон-фикшн могут обладать литературными достоинствами. Однако то, что достаточно в рассказе как литературном жанре, иногда заставляет читателя, ищущего этнографию, задаваться вопросами, остающимися без ответа.

Вот, например, замначальника отдела Даша, хранящая на своей рабочей флешке образцы бумаг, и сотрудница опеки Аня, недовольная тем, что нужный документ и какие-то другие образцы не нашлись на диске с общим доступом (с. 30). Увы, в итоге мы так и не понимаем, может ли Аня воспользоваться этим ресурсом, попросив файл с Дashiной флешки. Между тем, такая подробность была бы важна для понимания работы опеки, а не просто личных особенностей и отношений между сотрудниками.

Интересные сюжеты нередко оставлены без продолжения. Поначалу я думал, что таков авторский замысел и многое будет прояснено позже. Однако оказалось, что, создавая отдельными рассказами мозаичную картину, автор решает оставить ее недосказанной, не связывать всеми нитями. Мартыненко формулирует свою человеческую, а не исследовательскую позицию как приоритет: «мне важно показать, что любой социальный феномен – даже якобы рациональная и бездушная система бюрократической инстанции – невероятно сложно устроен, противоречив, двойственен и должен рассматриваться через жизнь конкретного коллектива и конкретных людей, поскольку ничего, кроме этой жизни коллективов, в государстве нет. Остальное – лишь работа нашего приученного к стереотипам воображения» (с. 40–41). Если это литературная игра, где автор выстраивает свой образ через отвержение научного познания в пользу человеческого знакомства и художественного осмысления явления, то тут нечего возразить. Но если отнести к этому утверждению всерьез, то оно просто неверно. Наука ведь про структурные особенности, про правила, которые мы выводим из наблюдений (наши выводы делают наблюдаемую реальность более предсказуемой), и про смыслы, которые своим действиям придают актеры и на которые сами ориентируются. Разумеется, органы опеки везде воплощены в конкретных людях с конкретными обстоятельствами, но это не значит,

что без этих коллективов органы опеки не существуют: если люди поменяются, институт опеки и даже конкретный муниципальный орган останется. Вот то, что остается при полной смене людей, и есть собственно предмет исследования, а вовсе не продукт воображения, приученного к стереотипам.

Стереотипы, впрочем, мы неожиданно находим в фотографических иллюстрациях. Если бы они были выполнены в иной технике – например, нарисованы, – этого вопроса бы не возникло. Однако фотографии механически воспроизводят то, что зафиксировал объектив фотографа, из чего в свою очередь потенциально вырастает целая область визуальной антропологии. Но изображения в работе Мартыненко – не антропология, а лишь художественные иллюстрации. Например, сцена нападения девочки на пожилого сотрудника полиции во время визита опеки проиллюстрирована картинкой с закапанной красной краской кухонной тряпочкой (с. 89). Натюрморты-иллюстрации встречаются и в других местах: например, изображение аккуратно разложенных чайного пакетика, пакетика сахара и трех скрепок (с. 41). Ни тряпка, ни пакетики со скрепками не были сняты на телефон исследовательницы в полевых условиях – это постановочные иллюстрации символического характера, составляющие части которых визуализируют некоторые тезисы и подробности из текста.

Когда читаешь этнографическую книжку, ожидаешь увидеть реальность, зафиксированную исследователем в конкретных обстоятельствах, а не плод работы иллюстратора. Студентов мы с самого начала учим гуглить картинки для иллюстраций в их презентациях – учим использовать для иллюстрации только изображения, взятые из реальности, прицепленные к ней и обладающие, так сказать, провенансом.

Предъявлять такие требования к художественному произведению, конечно, было бы неуместным, но документальный характер повествования в начале книги задает инерцию, которая спотыкается и о визуальные иллюстрации, и об инструментарий из арсенала наивной литературы, которая не очень дружит с прилагательными: если суп, то «наваристый» (с. 146), если беседа, то «оживленная» (с. 149), если детский рисунок, то «аккуратный» (с. 148; вы видели такие у детей?), а если мама, то «большая уютная женщина, с полотенцем, деловито перекинутым через плечо» (с. 145). Этнографов учат избегать оценок без указания ориентиров оценок: скажем, слова «красивый» или «уютный» не имеют смысла в этнографическом описании, пока исследователь не указал, почему считает место красивым или уютным. Прилагательное вообще не живет в тексте само по себе, особенно в тексте этнографическом, ибо из качественного прилагательного всегда выглядывает автор – источник оценки. В книге Мартыненко ярлыки и прилагательные появляются там, где она не опирается непосредственно на наблюдения, а достраивает то, что было увидено, тем, что было придумано. Причем читатель порой оказывается в замешательстве: ему не сказали, что он имеет дело с гипотетической реконструкцией, а он до поры думал, что автор все описанное наблюдала своими глазами.

Если в эпизоде с поездкой за мальчиком, отравленным клозепином (с. 96–98), еще можно было предполагать присутствие автора, хотя бы незримое, то в сцене с начальницей, пришедшей домой с работы (с. 140–143), автора исследования точно нет и быть не может. Попытка рассказать это литературно, от лица всезнающего автора, противоречит этнографической инерции начала книги. Мы либо верим все-

му, либо не верим ничему; но книга одновременно предлагает и эпизоды, где автор явно присутствует, и точно так же описанные эпизоды, где автор явно отсутствует.

Глава про доклад на исследовательском семинаре в университете в этом смысле особенно показательна. Я понимаю авторский пафос и проникаюсь сочувствием: вот в поле ты встретил живых людей и установил с ними человеческие отношения, а тут тебя просят анализировать их практики в терминах, от этих людей максимально далеких – да и имеют ли эти абстрактные, теоретические термины отношение к реальности? Все это знакомо. Когда от тебя требуют увидеть друзей не просто «дикарями», а еще и описать их «дикарство» в терминах социальных процессов и социальных институтов, это всегда непросто. Однако само описание семинара (с. 151–154) содержит любопытные детали: на семинаре, пишет Александра, должны выступить с докладами четверо аспирантов, все участники устали и спешат, потому что уже вечер, кто-то засыпает. Это описание содержит как минимум одну достоверно фальшивую ноту, потребовавшуюся автору, чтобы приукрасить картину: вопреки тому, что все реальные семинары с обсуждением фрагментов магистерских диссертаций имели место утром, в книге семинар происходит вечером.

В этом и состоит главное отличие книги Мартыненко от антропологического романа, как он представлен книгой Анны Клепиковой «Наверно я дурак» (2018): последняя, посвященная интернатам, досконально документальна – без подробностей, которые бы были выдуманы для заострения, дополнения или украшения. В получившемся же в результате смешения жанров этно-фикшне Мартыненко читатель не всегда может быть уверен в том, что та или иная деталь именно подсмотрена автором, а не приписана для закругления литературной формы.

Тем не менее, и исследовательский проект, и книжка в целом удалась. Теперь все, кто исследует социальную работу и низовую бюрократию просто обязаны иметь ее у себя на полке – впрочем, оставив там место и для другой, более толстой, фундаментальной и уже собственно научной работы Мартыненко.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Клепикова, Анна. 2018. *Наверно я дурак: антропологический роман*. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Brodin, Evelyn Z. 2013. "Street-Level Organizations and Welfare State Politics." Pp. 17–34 in *Work and the Welfare State: Street-Level Organizations and Welfare Politics*, edited by Evelyn Z. Brodin and Gregory Marston. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Hochschild, Arlie Russell. 1983. *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. Berkeley: University of California Press.
- Janeja, Manpreet K., and Andreas Bandak, eds. 2018. *Ethnographies of Waiting: Doubt, Hope and Uncertainty*. London: Bloomsbury Academic.
- Lipsky, Michael. 1980. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Powdermaker, Hortense. 1966. "Going Native?" Pp. 115–119 in *Stranger and Friend: The Way of an Anthropologist*. New York: W. W. Norton.
- Prottas, Jeffrey Manditch. 1979. *People-Processing: The Street-Level Bureaucrat in Public Service Bureaucracies*. Lexington, MA: Lexington Books.